

НОВОЕ произведение В. Катаева «Алмазный мой венец» дает пищу для раздумий над некоторыми мало еще изученными сторонами художественного воссоздания действительности. Читатель не может не изумляться памяти писателя, сохранившей в свежести драгоценные приметы прошлого. Но по некоторым размышлениям невольно задаешь себе вопрос: а в памяти ли, как мы ее нередко понимаем, тут дело? И следует ли память уподоблять, как это порой случается, «кладовой», «запаснику» музея, откуда можно без конца черпать нечто отстоявшееся, чтобы уже потом, в процессе труда, преобразовать его?

Видимо, с материалом прошлого в сознании художника происходит то, что теперь в науке называют минизацией, когда впечатление может сократиться практически до бесконечно малой величины, превратиться в некий код, стать невесомым, как крошечное зернышко, для которого достаточно малейшего дуновения ветра, чтоб улетело оно чуть ли не на другой материк... Но в отличие от семян, порождающих растения только одной породы, «зерна» памяти, когда они пробуждаются, соргетные лучом Замысла, могут дать самые удивительные всходы, претерпеть воистину невероятные превращения.

Все зависит от микроклимата замысла, от силы творческого преобразования материала, присущей таланту. Я сказал — неожиданные всходы. Да — не произвольные! В рождении мира художественного произведения из мельчайших впечатлений, спрессованных до невиданных емкостей, действуют свои, пусть еще не совсем понятные нам законы.

Так или иначе повествование В. Катаева и по концепции, и по стремлению запечатлеть сам процесс рождения образа, и по его итоговому художественному строю как бы спорит со все еще бытующими порой механически-упрощенческими суждениями о труде художника.

В конце концов не этой ли позицией обусловлен и отказ писателя от собственных имен героев (вместо них перед нами ключик, птицелов, королевич, мулат и другие, и единственный, кто удостоен прописной буквы, — это Командор). Читатель может выразить сомнение: сколько оправдан подобный прием, ежели, к примеру, королевич читает как свои собственные стихи, пронзительный лиризм которых дошел давно до сердца каждого и таким образом проблема атрибуции снимается напрочь? (Хотя, заметим попутно, подлинные имена некоторых других персонажей разгадать бывает несколько трудней.)

Мне кажется, обнаженная условность подобного приема в данном случае оправдана. Как подчеркивает автор, он пишет не мемуары, а нечто иное, что трудно или даже невозможно классифицировать с жанровой точки зрения (впрочем, к во-

просу о природе жанра нам еще предстоит вернуться). И рассказывает он одновременно и о реально существовавших людях, и о чем-то большем, что говорила через них эпоха. Перед нами и этот, и одновременно некий обобщенный тип творческого поведения, воплощаемый персонажем, модель, которая может реализоваться и в действиях других людей (вспомним, сколько подражателей было у королевича).

Однако катаевский образ — персонаж еще сложнее. Перед

ЗЕРНА ПАМЯТИ

нами не итог воспоминания, а как бы само воспоминание с подчеркнутым стремлением писателя отказаться от последующих поправок. Ему важна не застывшая истина-итог, а истина-процесс, воскрешение, движущая волна... Автор сознательно избегает «саморедактирования» собственных воспоминаний, но зато весьма обильно оснащает их попутными импульсивными ассоциациями, порожденными днем сегодняшним.

Подчеркивая своеобразный характер произведения В. Катаева, обусловленный особенностями лирико-субъективного начала в нем (сам автор не без присущей ему склонности к преувеличениям заявлял даже, что перед нами «чисто художественное отражение» его «внутреннего мира»), мы не должны, с другой стороны, умилять и объективно-познавательного, так сказать, «информативного» смысла его сочинения. Может быть, в первую очередь это касается обобщенного образа Москвы, рождающего гордость за произведенные в ней перемены, но, случается, и чувство грусти, когда иные из перемен оказались не вполне оправданными. А порою и перед лицом оправданных тоже. Взять хотя бы перемещение памятника Пушкину. Современникам В. Катаева он дорог как «житель» Тверского бульвара, и мы должны понять чувства, владеющие людьми 20-х годов: ведь памятник рождает в их сознании факты их биографии, которые «передвинуть» по другую сторону улицы Горького, бывшей Тверской, гораздо труднее, чем дома на ней, которые сдвигали.

Не меньшее объективно-познавательное значение имеет и литературно-мемуарная часть «Алмазного венца». Она показывает сложность, противоречивость литературного «быта» 20-х годов, напряженность нравственных исканий той поры, воссоздает такие картины, которые, может быть, читать сегодня и больно, но в истинности которых усомниться мы не имеем ни малейших оснований. Драматичны индивиду-

альные судьбы персонажей книги, лишённые пресловутого «хрестоматийного глянца».

Если автор суров в изображении тех или иных героев, то не менее суров он и в отношении к себе. Автобиографический образ лишен малейших попыток самоприукрашивания и отражает скорее драматизм и сложность исканий, чем радость успехов и обретений.

И все же не могу не заметить, что нарисованные им образы выиграли бы, если бы полнее отражали особенности

невольны награждаются прямо-таки сказочными возможностями: шутка ли, взять и придумать жанр!

В действительности, разумеется, подобные подвиги критикам не под силу. Жанры никто еще не придумывал. Они постепенно формировались сами, ни у кого не спросясь, в тектонических глубинах коллективной художественной практики.

Никто не может лишить писателя права работать в той манере, которая представляется ему наиболее перспективной. Но стоит ли утверждать ее не иначе, как на обломках прежних форм художественного обобщения? Так ли уж неизбежно отрицание одним другого? А может быть, именно в интересах литературы и той «художественной свободы», о которой так заботится повествователь, сосуществование разных жанров, манер, стилей, включая и чисто традиционные? Ведь не отрицает же В. Катаев творчества М. Булгакова только на том основании, что автор «Мастера и Маргариты» был принципиальным противником новаций, столь увлекавших в 20-е годы многих, и склонялся на сторону классики, казавшейся многим тогда старомодной?

Впрочем, в этом споре с В. Катаевым-теоретиком хочется опереться на еще одного союзника... автора книги «Алмазный мой венец». Мне кажется, сравнительно с некоторыми предшествующими его вещами и вопреки известной ассоциативной «разорванности» стиливого рисунка книга эта очень сильно тяготеет к художественному единству. В фокусе повествования со скульптурной выразительностью сосредоточились удивительные творческие и человеческие судьбы тех видных деятелей нашей литературы, с которыми посчастливилось общаться автору книги «Алмазный мой венец».

Вадим БАРАНОВ